



Эдуард Фукс



История нравов
Буржуазный век



Эдуард Фукс

История нравов. Буржуазный век

«РИПОЛ Классик»

1902–1912

УДК 17(091)
ББК 87.7

Фукс Э.

История нравов. Буржуазный век / Э. Фукс — «РИПОЛ
Классик», 1902–1912

ISBN 978-5-521-00429-4

Современник зарождения буржуазной морали, немецкий ученый и журналист Эдуард Фукс анализирует стремительно меняющиеся нравы общества на рубеже XIX-XX веков, приходя к пусть несколько наивным, на сегодняшний взгляд, но по-настоящему революционным выводам.

УДК 17(091)

ББК 87.7

ISBN 978-5-521-00429-4

© Фукс Э., 1902–1912
© РИПОЛ Классик, 1902–1912

Содержание

Вступление	6
1. Буржуазный век	10
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Эдуард Фукс
История нравов. Буржуазный век

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,
2017

Вступление

Буржуазным веком называется век современного капитализма, выстраивающегося на возникшей в XVIII столетии экономической системе товарного производства. А современный капитализм, в свою очередь, – это наиболее грандиозное развитие института частной собственности, обуславливающего всю нашу общественную и политическую культуру. Соответствующие этим новым экономическим условиям политические и социальные формы возникли в Англии в эпоху революции 1648 года, завершившейся лишь в 1688 году, а на Европейском континенте – в эпоху Великой французской революции. Оба этих грандиозных переворота сокрушили те государственные и общественные образования, которые были преградой для нового исторически необходимого способа производства, и создали взамен те политические и социальные формы, в которых новый экономический принцип нуждался, как в предпосылках и в рамке для своего успешного развития.

В силу этих своих последствий революции 1648 и 1789 годов носили не только местный английский или французский характер – они были «революциями общеевропейского стиля». Они дали европейскому человечеству совершенно новую внешность, новый вид. «Они были не победой определенного общественного класса над старым политическим порядком, а провозглашением политического порядка для новых европейских обществ. Правда, победила буржуазия, но ее победа была тогда равносильна победе нового общественного порядка, победой буржуазной собственности над феодальной, национальности над провинциальной обособленностью, конкуренции над цехами, дробления над майоратом, власти собственника земли над властью земли над собственником, просвещения над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями» («Новая рейнская газета» от 15 декабря 1848 года).

Этот переворот уничтожил или совершенно пересоздал прежние классы, из которых состояло общество. Вместе с тем с течением времени возникали новые классы с совершенно новыми потребностями, сыгравшие также известную роль в историческом процессе. Все общественное бытие получило таким образом постепенно совершенно новую физиономию. А так как каждому новому периоду общественного бытия соответствует и новая половая мораль, то с этого момента начинается и новая эпоха половой нравственности: возникли и воцарились совершенно новые законы публичной и частной нравственности.

Эпоха абсолютизма провозгласила открыто перед лицом всего мира как свой высший закон культ необузданной и утонченной чувственности. Эта мужественная откровенность, однако, вовсе не была доказательством, что тогда господствовали более свободные и широкие взгляды на половые отношения, чем, скажем, в настоящее время, нет, эта откровенность была только циническим проявлением неограниченности абсолютизма. Господствующие классы XVIII века, придворная аристократия и крупная финансовая буржуазия, еще не стояли лицом к лицу со способными на борьбу другими классами, критика которых могла бы стать опасной для их господства. Вот почему они имели возможность всецело отдаваться во власть своих инстинктов и провозгласить высшим смыслом бытия разнузданный культ этих инстинктов.

В эпоху буржуазной культуры, сменившую абсолютизм, взаимные отношения господства и подчинения совершенно изменились между отдельными классами. Средние и низшие классы стали во всех странах таким фактором, который своей критикой так или иначе влиял на общественную жизнь. Вот почему с этого именно момента законы общественной нравственности должны были получить совсем новую формулировку. Впрочем, не только по этой причине, но и потому, что содержание жизни и потребности нового времени стали совершенно иными.

Буржуазное государство возвело повсюду, где оно осуществилось, подданного из состояния крепостного в степень гражданина, дало ему права, провозгласило равноправие. С боевым кличем «Свобода, равенство и братство» ринулось третье сословие в борьбу с феодализмом,

и битва эта увенчалась рядом бессмертных побед. Буржуазное государство свело и женщину с пьедестала, на котором она в продолжение почти полутора столетий стояла в позе официально признанной высшей богини. И это было для нее не унижением, а, напротив, возвышением. Впервые, начиная со Средних веков, женщина стала человеком. Из рабыни, лишенной права иметь свои суждения, из простого орудия наслаждения она все более превращалась в товарища и подругу мужчины. Единственным нравственно допустимым базисом брака во всех классах и всеми классами была признана индивидуальная половая любовь. Связующим людей звеном должна была стать солидарность. Высочайшие психические и физические цели ставились отныне идеалу человеческой красоты. Все формы и ценности жизни, искусство, философия, право, язык, наука – все подвергалось критике и поправкам буржуазного века.

Современное буржуазное государство хотело быть венцом всего предыдущего развития семьи, государства и общества, постройкой, отмеченной в худшем случае лишь некоторыми эстетическими недостатками. Вот почему оно стремилось также и к тому, чтобы сойти за осуществление «истинного нравственного миропорядка». Оно хотело быть конкретным воплощением этой идеи.

Не подлежит никакому сомнению, что уже одно это стремление внесло в европейскую историю огромный запас нравственных мотивов и что эти последние привели с течением времени к такому физическому и духовному возвышению народов, которого даже и отдаленно не достигала ни одна из прежних форм общественного развития. Многие политические и социальные идеалы, ранее бывшие не более как смелыми грезами отважных утопистов, стали осязательной действительностью уже по одному тому, что они стали и остаются знаменем в борьбе миллионов вдохновенных борцов. В области науки и искусства каждый день приносит с собой все новые и все более смелые создания. Во всех сферах духовной жизни царит непрерывная революция, *Revolution in Permanenz*.

То же самое приложимо и к преобразованию половой морали и всех связанных с ней областей. И хотя это новое положение вещей нельзя сравнить с победой дня над ночью – все же многообещающая заря поднялась над всем культурным человечеством.

И однако, мы должны оговориться.

Все эти черты, которые могли бы в своей совокупности образовать понятие истинного нравственного миропорядка, – в лучшем случае лишь идеология буржуазного государства, только его искусственный рефлекс, а не его подлинная сущность. Все это только ореол, которым оно окружило свою собственную голову в майские дни, когда новая эра железной поступи ступала по земле, все революционизируя, сокрушая старые формы, наполняя их новым содержанием, когда буржуазное государство – что не подлежит спору – искренно верило, что именно оно – идеальное осуществление всех этих идей. Реальное содержание этой идеологии, однако, очень скоро и безжалостно разбилось о принципиальную несовместимость идеи с практическим базисом эпохи, последней и высшей целью которой было и есть повышение прибыли, это присущий капиталистическому товарному производству основной закон.

Идеалы буржуазного века не могли осуществиться, стать действительностью потому, что освобождение человека – не самоцель для буржуазного государства, а только средство для достижения цели. Человек, как представитель массы, должен был получить свободу, потому что только таким путем можно было заручиться теми силами и рабочими руками, в которых новый экономический принцип все более нуждался для завоевания мира. Все официальные идеалы буржуазного государства должны были поэтому подвергнуться поправкам именно в интересах этой решающей и высшей потребности капиталистического общества. Чем решительнее совершалось это исправление во имя кошелька и власти буржуазии, чем ярче оно противоречило поднятому знамени, чем глубже была пропасть между истинным содержанием вещей и идеологической драпировкой, тем упорнее цеплялась буржуазия за эту последнюю. Она не только хотела быть и остаться высшим осуществлением нравственного порядка, дальше

которого идти некуда. Она должна была так поступить: ибо если бы она отреклась от своей идеи, то это было бы равносильно смертному приговору, произнесенному ею же над собою. А на такой шаг способен общественный класс только в том случае, если прошел все возможные стадии развития и в дверь его стучится банкротство.

Самое разительное противоречие между действительностью и видимостью, какое только знает история, – таково конечное последствие этой эволюции и вместе с тем характерная сущность современного буржуазного общества. Единственным средством затушевать истинное положение вещей было лицемерие. Только оно могло скрыть зияющее противоречие между действительностью и идеалом. Черта, отличавшая раньше всегда только отдельные слои общества, стала в эпоху господства буржуазии всеобщей. Место действительности заняла видимость. Был провозглашен диктаторский закон: ты должен казаться нравственным при любых условиях, во что бы то ни стало. В области половой морали возникло, как половая идеология, моральное лицемерие, и оно порой доходило до бесстыднейшего ханжества. Почетом и уважением пользуется тот, кто умеет сохранить эту видимость даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. А тот, кто при всей своей личной порядочности пренебрегает видимостью, подвергается опале.

Такова буржуазная мораль в ее поперечном, а не продольном разрезе – последний состоит в постоянных зигзагах этой эволюции.

Осветить половую жизнь и ее отражение в идеологии в разных классах в век господства буржуазии – такова рамка и таково содержание этого тома.

Относящийся сюда документальный материал неисчерпаемо богат и бесконечно многообразнее того, которым историк мог пользоваться для выяснения и для иллюстрации половых нравов предыдущих эпох. Так как в настоящее время каждый класс ведет самостоятельное политическое существование, то каждый класс выражает по-своему свои взгляды и требования относительно половой нравственности. Каждый класс пользуется к тому же почти одинаковой возможностью выражать эти свои взгляды и требования, причем первым и главным средством служит периодическая печать. Газета всюду заняла место так называемого летучего листка. Картина также очень скоро и притом удивительно удачно стала составной частью газеты, сначала в виде самостоятельного приложения, потом как комментарий, дополнение и иллюстрация к тексту. В конце концов картина сделалась во многих случаях важнее текста, исполнявшего лишь роль ориентирующего прибавления.

Влияние газеты, как иллюстрированной, так и состоящей из одного только текста, огромно ввиду ее периодического характера. Отдельная личность получает теперь не только случайные и поверхностные сведения о важнейших событиях и об общем положении общественной и частной жизни индивидуумов, классов и народов, которыми в дни «летучего листка» должны были довольствоваться массы, – нет, теперь все могут рассчитывать на самую детальную информацию при помощи как иллюстрации, так и текста.

Эта широко поставленная информация, это влияние на массы были в значительной степени обусловлены фотографией, облегчавшей, начиная с 60-х годов XIX века, работу рисовальщикам и художникам. Фотография не только расширила до последних пределов сферу подлежащих воспроизведению предметов, но и повысила документальную точность картины, и притом всех картин. Даже художник мог теперь черпать материал для изображения невиданных им предметов уже не в своем воображении, как он это делал раньше очень часто и без всякого стеснения, – фотография давала ему в огромном большинстве случаев необходимые сведения. Да и не мог он теперь поступать так, как прежде, так как фотографические снимки все чаще появлялись на рынке, облегчая публике возможность контроля.

Если, таким образом, сократилась область представлений, почерпнутых из воображения, если ценность этих последних значительно понизилась, то наши пластические представления о предметах стали, несомненно, более точными и более содержательными. А с тех пор как были

изобретены открытки, картина заняла вообще господствующее положение. Взоры наши падают ежеминутно на картины, и мы не в состоянии от них бежать. Если бы мы даже стали игнорировать иллюстрированные газеты и открытки, то все же остался бы плакат, иллюстрированная реклама, преследующая нас на всех предметах обихода, чтобы навязать нам свое мнение – и свою мораль.

Последнее также очень важно. Ибо все: газета, картина, открытка, плакат, фотография, предметы обихода – становится в очень значительной степени носителем, посредником, а часто и прямо пропагандистом определенных половых взглядов. И потому все они без исключения – важные документы для характеристики нравов нашего века.

Дать правильное представление о росте богатства этого документального материала было бы одной из главных задач иллюстративной части этого третьего тома. Придется, однако, ограничиться более скромной задачей и составить хотя бы приблизительное о нем представление. Благодаря своему крупнокапиталистическому размаху буржуазный век разбивается на миллионы отражений, и нет никакой возможности уловить их хотя бы отчасти: так точно многообразие жизни и ее проблем может быть охвачено отдельной личностью только в отдельных проявлениях, а не в совокупности. Поднять избранную частицу общей картины на высоту характеристического описания, воссоздать магистральную линию частнокапиталистической культуры – вот отныне то, что еще может сделать отдельный историк.

1. Буржуазный век



*Восшествие буржуазии
Идея и действительность
Нравственное лицемерие*

Развитие торговли вывело европейское человечество из мрака Средних веков на высоту Ренессанса. Переход от мануфактуры к машинно-фабричному производству в XVIII веке упразднил, в свою очередь, абсолютизм и поставил на его место современное буржуазное общество.

Юный гигант нового способа производства должен был иметь свободу беспрепятственного движения, чтобы развить без остатка свои силы. Он нуждался в таких государственных и

общественных формах, которые были бы приспособлены к нему, которые не только не задерживали бы его тенденцию наивозможно большего развития, но всячески способствовали бы ей... В рамках абсолютистского государства эти возможности были ограничены, а в конце XVIII века они оказались и совсем исчерпанными.

Абсолютистское государство не могло больше существовать. Буржуазия, носительница нового способа производства, должна была добиться того, чтобы государство служило исключительно ее интересам, то есть интересам капитала. В форме представительного государства буржуазия завоевала и создала для себя такой политической строй, который более всякого другого соответствовал ее политическому и социальному господству.

Переход от мануфактурного производства к машинно-фабричному, относящийся ко второй половине XVIII века, был, разумеется, не случайностью, а логическим и исторически неизбежным последствием всей эволюции. Развитие техники, изобретение машин, введение пара как двигательной силы не могут считаться конечными и решающими причинами происшедшего переворота – нет, это развитие техники само было лишь результатом вновь назревших потребностей.

Истинные причины экономического переворота лежат гораздо глубже и восходят к более отдаленному времени, а именно к эпохе великих открытий. Открытие новых торговых путей в XV и XVI веках не только привело к накоплению больших богатств в среде купечества – оно быстро и во все возраставшем размере расширило рынок для промышленности тех стран, которые вели морскую торговлю. Сначала для Испании, Голландии и Англии, потом главным образом для Англии, все более становившейся царицей морей. Удовлетворить эти быстро растущие потребности рынка ремеслу оказалось под конец не по плечу. Массовый сбыт предполагал массовое производство.

Вторая половина XVIII века знаменует собой этот поворотный пункт в истории. А эта потребность в массовом производстве сказалась, естественно, прежде всего на производстве таких предметов, которые и раньше изготавливались в особо большом количестве для рынка и даже тогда составляли важнейший предмет торговли, а именно на ткацкой промышленности. В этой отрасли особенно рано обнаружилось, что ремесленники отстают от потребностей рынка. Как известно, первым проявило свою несостоятельность патриархальное веретено. Из-за все возрастающего производства в середине XVIII века оказалось, что «для всех имевшихся в наличии веретен уже недостаточно пряжи, так как один ткач мог привести в движение шесть или восемь веретен. Каждый станок часто и подолгу бездействовал, так как не было нужной пряжи».

Главнейшей потребностью времени стало, таким образом, устройство машины, которая «пряла бы без помощи пальцев» и столько пряжи, сколько нужно станку, чтобы непрерывно находиться в работе. Так обозначилась главнейшая техническая проблема эпохи. Проблему эту решило изобретение прядильной машины, знаменитой *Jenny mule*. Она была изобретена и усовершенствована почти исключительно ткачами, которые особенно остро ощущали эту потребность. Брэдбрей Аркрайт, которому история необоснованно приписала главную честь этого изобретения, был на самом деле только первым его бессовестным эксплуататором.

Аналогичные потребности вызвали изобретение и усовершенствование паровой машины. В интересах все большего повышения работоспособности прядильной машины она обслуживалась сначала руками, потом лошадьми, наконец, водой, мельничными колесами. Производитель был теперь прикован к определенному месту. Насущнейшая же потребность фабриканта заключалась в возможности производить товар везде, и прежде всего там, где он мог найти самые дешевые «руки» для обслуживания машин и где он не зависел бы от отдельного рабочего. Такую возможность он мог найти тогда только в городе. Изобретенная Джеймсом Уаттом паровая машина и позволяла ставить где угодно механическое веретено, а потом и механический станок, о которых одних только и шла речь.

Так началась та огромная промышленная революция, которая шаг за шагом втягивала в свой круговорот все продукты и все потребности и которая продолжается еще и поныне. Ее успехи становились все более крупными и грандиозными. Она в конце концов совершенно упразднила в области техники слово «невозможно». Во всеоружии техники буржуазия, распоряжавшаяся этими силами, совершила такие подвиги, в сравнении с которыми все сделанное раньше человечеством, даже самое крупное, кажется детской игрушкой. «Буржуазия создала совершенно иные чудеса, чем египетские пирамиды, римские акведуки и готические соборы. Она предприняла совершенно иные движения, чем переселение народов или Крестовые походы».

А совершить все эти подвиги при помощи техники современная буржуазия сумела только потому, что массовое Производство, крупное производство значат не что иное, как гигантскую прибыль, – прибыль в дотоле неизвестных размерах, прибыль, постоянно повторяющуюся и постоянно повышающуюся. Как уже упомянуто во вступлении, вместе с машинным способом производства родился современный капитализм, не знающий пределов для своего колоссального развития. Если деньги представляют собой самый революционный фактор, когда-либо выступавший в истории, – ибо родившийся вместе с ними закон неустанного обмена равен силе принципу непрерывного движения, а следовательно, и непрерывной революции, – то современный капитализм есть наиболее грандиозное развитие этого фактора. Другими словами: только в рамках современного капитализма обнаруживается в полном объеме революционизирующее влияние денег. А последствия этого касаются всех элементов, всех сторон жизни. Давно уже нет больше ни единой области мысли, ни единой области жизни, которые не были бы пропитаны потребностями капитализма, которые не находились бы под его властным влиянием: все проявления физического и духовного бытия ныне – его создания.

Так как современное буржуазное государство – это не более чем политическое выражение победы новой формы производства во всех областях товарного хозяйства, то каждое отдельное государство переходило к так называемой конституционной форме правления по мере того, как оно достигало высот экономического развития.

Во главе шла Англия. Иначе и быть не могло. Здесь вся историческая ситуация ранее, чем в других странах, сделала возможным воцарение нового способа производства. По этой только причине здесь и вспыхнула раньше, чем где бы то ни было, буржуазная революция, то есть такая революция, в которой буржуазные интересы торжествовали победу над интересами абсолютизма.

Благодаря своему удобному географическому положению Лондон сделался первым естественным центром мировой торговли. Вот почему здесь раньше, чем где бы то ни было, сосредоточилось наибольшее количество крупных купцов и вот почему здесь раньше, чем где бы то ни было, сложились благоприятные для развития крупной индустрии условия. К этому надо еще присоединить завоевание в XVIII веке Индии, облегченное Англией ее ролью владычицы морей, завоевание, открывшее новый большой рынок. Беззастенчивая эксплуатация Индии – в этом прежде всего, и притом в продолжение многих десятилетий, заключалось ее «приобщение» к культуре – дала английской промышленности такой мощный толчок развития, какого не удостоилась никакая другая нация. Баснословнейшие богатства притекали непрерывно из Индии в Англию, и так как необходимо было эти богатства выгодно «пристроить», то они и дали возможность индустрии, вызванной к жизни всеобщей потребностью в массовом производстве, расширить и усилить свою деятельность в самых крупных размерах.

Все эти причины объясняют нам, почему в Англии раньше и крепче сформировалось буржуазное государство. Они же объясняют и тот факт, что здесь впервые определилась типичная физиономия буржуазии, как физическая и моральная, так и интеллектуальная.

За Англией последовала Франция. Как уже упомянуто во вступлении, она присоединилась в конце XVIII века к хороводу, открытому Англией, и провозгласила начало буржу-

азной эры на континенте. Ради точности необходимо, впрочем, заметить, что французская революция разразилась вовсе не 14 июля 1789 года, а началась полстолетием раньше и с той поры царила *in Permanenz*: революция 1789 года была только акушеркой при рождении нового порядка – роль, которую всегда исполняет насилие. Необходимо поэтому сказать так: если буржуазное государство и родилось на континенте в 1789 году, оно было создано не одной только революцией.

Во Франции так же, как в Англии, существовали некоторые благоприятные для развития нового способа производства условия. Наряду с Лондоном Париж был вторым естественным центром мировой торговли. Так возникло и здесь очень богатое купеческое сословие, которому постоянная потребность абсолютизма в деньгах доставляла все новые и все более крупные доходы. С другой стороны, французская индустрия извлекала огромную прибыль из абсолютизма, а именно из колоссального сбыта всевозможных предметов роскоши, в которых господствующие классы нуждались для своей пышной, посвященной наслаждению жизни. Достаточно вспомнить, что многие дамы придворного общества имели сотни роскошных платьев, а Мария-Антуанетта и того больше. Необходимо иметь в виду, что парижская шелковая индустрия и парижские портные были в продолжение целого столетия поставщиками всего европейского придворного общества. Из французских фабрик и мастерских ежегодно отправлялись одному только русскому двору тысячи кусков французского шелка и столько же готовых платьев. После смерти императрицы Елизаветы в ее гардеробе нашлось более 15 тысяч роскошных костюмов, выписанных из Парижа. Поэтому почти вся тогдашняя индустрия изготовляла предметы роскоши.

Раннее возникновение в Англии и Франции центральной власти представляло также своеобразное преимущество для быстрого подъема их промышленности. Это обстоятельство давало, с одной стороны, капиталу возможность пышно развиваться в собственной стране, а с другой – оно служило ему надежной охраной в международных предприятиях, охраной, возбуждавшей дух предприимчивости, так как позволяло рисковать.

Всех этих условий не было в Германии. Германия поэтому встала на путь капиталистического развития позже Англии и Франции. Ей пришлось на шестьдесят лет дольше ступать по удушливому и вонючему болоту открытого и замаскированного абсолютизма. Нет поэтому ничего более неверного и глупого, как частое в устах благонамеренных историков утверждение: только потому, что Франция находилась в более глубоком упадке, чем Германия, там вспыхнула революция уже в XVIII веке. На самом деле имело место как раз обратное. «Немецкий народ, в массе своей со времен Тридцатилетней войны истощенный и разбитый, до мозга костей изнуренный ужаснейшим деспотизмом, не имел сил для революционного подъема, позволившего французской буржуазии покончить с феодально-абсолютистским режимом». Так все обстояло в действительности.

Происходили революции, правда, и в Германии, но только в воздушных сферах фантазии, в области философии и поэзии, и только во сне люди дерзали быть свободными. Сидя за письменным столом в Вене или в скромной комнате в Веймаре, – не в крупном даже городе! – грезил Шиллер о гражданской свободе Германии. Это была простая мечта философа и писателя, которая очень скоро и разбилась о несомненно логическую, хотя и отнюдь не эстетическую действительность.

Макс Мауренбрехер очень удачно описал тогдашнее положение в Германии: «Носители буржуазной мысли в Германии держались того мнения, что они должны осуществить свои идеалы не в борьбе, не насилием, а моральным и эстетическим, словом, чисто духовным воздействием на правителей. Такое мировоззрение не могло, естественно, иметь никаких практических результатов. Если в Германии царило такое противоречие между идеалом и действительностью, если здесь отсутствовало активное стремление к осуществлению идеала, то это объясняется тем, что буржуазные идеалы родились не на немецкой почве, выросли не из немец-

ких условий, а обязаны своим возникновением французскому влиянию. Поэтому нет ничего удивительного, что немецкие поэты и философы в ужасе отвернулись от французской революции и впали надолго в непобедимый пессимизм, когда французская буржуазия стала добиваться своих прав путем не морально-эстетической пропаганды, а грубой силы».

Впрочем, такие писатели, как, например, мужественный Лессинг, которые позволяли себе говорить более сильным и ясным языком, вынуждены были или пойти на службу к мизерной личности, или же эмигрировать, чтобы умереть только духовно, а не к тому же еще буквально с голоду.

Эта печальная историческая ситуация коренится в столь же печальной социальной отсталости Германии. Если ближе всмотреться в эту отсталость, то охватившая Германию летаргия уже не покажется столь удивительной. В конце XVIII века немецкая индустрия еще даже и не родилась. Не существовало здесь ни значительной угольной, ни значительной металлургической промышленности, ткацкое производство еще не носило фабричного характера. Нельзя говорить даже о более или менее развитой мануфактуре. Большинство производств представляли крохотные мастерские, где работал обычно кроме мастера только один ученик, а подмастерье имелся в менее чем половине таких учреждений.

Еще в 1845 году в Пруссии, например, насчитывалось 46 тысяч ремесленных производств, в которых было занято 38,5 тысячи подмастерьев и учеников. На шесть самостоятельных ремесленников приходилось, таким образом, в среднем только пять подмастерьев. Другими словами, не во всякой мастерской имелся подмастерье. Перед нами самая неразвитая форма производства, какую только можно себе представить. Она носит почти еще средневековый характер. Так как в Германии отсутствовали даже зародыши капитализма, то здесь и не могло быть буржуазии, не могло быть и буржуазного класса, серьезно стремившегося к политическим правам. И в самом деле, тогда в Германии были одни только бедные и слабосильные мещане и несколько так называемых «рассвирепевших философов».

Только начиная с 40-х годов XIX века капиталистическое производство начало заметно развиваться и в Германии. Только в эту эпоху абсолютизм мог быть поэтому побежден и могло возникнуть настоящее буржуазное общество. Стало быть, почти на два столетия позже, чем в Англии, и на пятьдесят лет позже, чем во Франции. Расстояние слишком значительное, чтобы Германия могла догнать эти страны. И история буржуазной «свободы» Германии потом доказала, и притом самым трагическим образом, правильность этого положения.

Победа буржуазного общественного порядка над абсолютизмом с какой бы то ни было точки зрения была значительным прогрессом. Не без основания замечено, что лишь вместе с абсолютизмом завершились Средние века, что они умерли вместе с ним и в тот же день. Под Средними веками в данном случае следует понимать эгоистическое господство самого узкого индивидуализма, считающегося только со своими ближайшими личными интересами, отличающегося самым ограниченным горизонтом, не имеющего никакого представления о высоких, мировых идеалах человечества и объявляющего им войну, когда эти последние грозят хотя бы малейшим ущербом его материальным интересам.

Вот почему раньше понятие солидарности, этот источник всякой истинной культуры, почти не было известно и не играло существенной роли ни в жизни общины, ни в международных отношениях. Косо посматривал каждый на своего соседа, каждый видел в другом врага, только и думавшего о том, чтобы занять его место у кормового корыта. Идея солидарности родилась только вместе с буржуазным обществом. Она перестала быть простым чувством сострадания или красивым, исключительным фактом, свидетельствовавшим о том, что «две прекрасные души нашли друг друга». Она впервые стала основным законом существования.

И эта добродетель очень скоро обнаружила свою тайную чудесную силу: солидарность со всеми теми, кто носит образ и подобие человека, сделала революционную армию Франции освободительницей всей Европы. Идея, которая в самом начале буржуазной эры сообщала ее

идеалам победоносную силу и обеспечила им длительность победы, привела с течением времени к еще более важным последствиям. Солидарность перешла с середины XIX века в чувство убеждения, что человечество не только постоянно поднимается все выше, но и совершает это восхождение во все более благородных формах.

Классическим доказательством может служить грандиозная освободительная борьба пришедшей к самосознанию трудящейся массы всех стран. Это эмансипационное движение довело чувство солидарности до такой идеальной высоты, до какой оно никогда не поднималось в предыдущие эпохи. Если мы прибавим, что крепкое чувство солидарности всегда рождается только из сознания общности материальных интересов, то такое замечание лишь объясняет, а отнюдь не унижает само это чувство. Что человек питается, в этом нет ничего стыдного: стыдно разве то, чем и как он питается.

Не признающее никаких границ чувство солидарности – это идеологическая идеализация буржуазного общества. А так как явления входят в сознание людей всегда сначала в их идеологической идеализации, а не в их материальной сущности, то наступление новой эры приветствовали ликуя, как век осуществления всех упований. Люди были убеждены, что это золотой век. Осуществлен истинно нравственный миропорядок. Отныне есть только люди. Нет больше деления на господ и рабов, на поработителей и поработенных. Есть только свободные от рождения граждане. Воцарятся добродетели, точно мрачные тени ночи, исчезнут пороки. Рассеются, как дым, нужда, заботы, страх и отчаяние. По стране пройдет богиня богатства, расточая без устали всем и каждому свое благословение. Только во имя великих идеалов будут лихорадочно работать мозги людей. Война станет сказкой времен седой старины, когда человек еще не проникся сознанием своего достоинства и величия. Свобода, братство и равенство будут служить связующим звеном не только между отдельными гражданами в каждой стране, но и между всеми странами земного шара. Во Франции, в стране, подарившей миру эту волшебную формулу, слова эти отныне сияли как огненные письма в каждой деревне, в каждом городе, чтобы тысячами языков пропагандировать эту истину. Они были девизом, украшавшим каждое официальное здание, каждую официальную бумагу.

Такова была великая и, несомненно, искренняя вера эпохи на заре нового буржуазного порядка. Люди серьезно и честно верили, что только феодализм мешает общему благу и что после его уничтожения непременно должно наступить время всеобщего счастья, время, когда виноград будет созревать для всех. И веру свою они облекли в железные формулы, провозгласив их вечными и неизменными правами человечества. Отныне самым страшным преступлением должно быть признано посягательство на эти вечные права. Всякая даже попытка посягательства вполне оправдала бы новую революцию.

Прежде всего и громче всего раздалась эта гордая фанфара в эпоху объявления Соединенными Штатами своей независимости, когда в 1776 году они восстали против поработившей и эксплуатировавшей их английской метрополии. В этом объявлении¹ говорится: «Все люди равны. У них есть неотъемлемые права, между прочим право на жизнь, свободу и счастье. Чтобы обеспечить людям эти права, были созданы правительства с согласия и с ведома управляемых. Если правительство уничтожает эти неотъемлемые права, то народ обязан переменить или совсем упразднить его. Народ может создать и новое правительство по таким принципам и таким образом, как это кажется ему наиболее выгодным для его безопасности и для его благополучия».

Таковыми эффектными фразами начиналось объяснение независимости американских штатов. Почему во главу угла было положено провозглашение народного суверенитета и права на революцию, как первого и высшего из всех прав человека, ясно мотивировал автор Декларации Томас Джефферсон уже на склоне лет: «Этот документ должен был сиять миру, как

¹ Имеется в виду Декларация независимости США, принятая 4 июля 1776 года. – *Здесь и далее примеч. ред.*

огненный столб, дабы люди разбили те цепи, которыми опутали их шею поповское невежество и суеверие. Пусть люди поймут наконец, что они не родятся с седлами на спине, на которые могут взобраться несколько легитимных всадников, чтобы по желанию пустить в ход шпоры и кнут. Человек обязан развивать свой разум и свои способности, чтобы участвовать в самоуправлении, для которого он родился».

Гордому примеру американцев семнадцать лет спустя достойно последовали французы. Они тем временем усвоили совет Мирабо: «Учитесь у американцев свободе» – и испробовали его на практике. Знаменитая конституция 1793 года открывается следующей Декларацией прав гражданина и человека: «Руководясь убеждением, что во всех невзгодах человечества виноваты были только забвение и пренебрежение естественными правами человека, французский народ решил пояснить в торжественной Декларации святые и неизменные права, дабы граждане имели возможность неустанно сравнивать действия правительства с истинными целями общественного устройства и никогда не позволяли бы тиранам поработить и унижать их, дабы народ всегда имел перед своими глазами основы своей свободы и своего права, правительство – свои обязанности, законодатель – свой долг».

Первые и важнейшие пункты конституции 1793 года гласили:

«1. Целью общественного устройства является всеобщее счастье. Правительство создано для того, чтобы обеспечить людям пользование их естественными и вечными правами.

2. Этими правами являются: равенство, свобода, безопасность, имущество.

3. Все люди равны от природы и перед законом.

4. Закон является свободным и торжественным выражением общей воли. Он одинаков для всех, защищает ли он или карает.

5. Закон может принуждать лишь к тому, что справедливо и полезно обществу, и запрещать лишь то, что ему вредно.

6. Свобода состоит в том, что человек имеет право делать все, что не вредит другому; ее основой является природа, ее правилом – справедливость, ее охраной – закон, а ее моральным ограничением – максима: не делай другому того, относительно чего ты не хотел бы, чтобы оно было сделано тебе».

Таков был язык поколения, освободившего мир от абсолютизма, и этот язык находил свое оправдание в его поступках.

Не менее возвышенной должна была быть и половая идеология, с которой буржуазия вступила на арену истории, тот идеал любви, с которым она мечтала пересоздать мир. Ведь вместе с торжеством буржуазных идей должен был наступить век Истинного нравственного миропорядка. Свободный гражданин не должен подчиняться низким страстям. Необходимо идеализировать любовь, освободить ее из-под власти грубо-чувственного наслаждения, под гнетом которого она находилась в эпоху старого режима².

Любовь снова должна была стать естественной. Чистым целомудренным чувством, подобно священному пламени, должна она гореть в людских сердцах. Человек должен любить в другом прежде всего его душу, его ум. Только благородная натура может стать предметом, достойным любви. Красивую внешность отныне любят только ради ее более прекрасного внутреннего содержания. Таковы основные положения новой буржуазной любви, соединяющей теперь противоположные полы, сообщающей жизни более чистое содержание.

В евангелии буржуазной идеологии любви, в «Юлии, или Новой Элоизе», которую Жан-Жак Руссо подарил миру как новое откровение, все эти требования выставлены и обоснованы с огромным красноречием. В своем первом письме к обожаемой им Юлии Сен-Пре, этот новый мужчина, пишет: «Нет, прекрасная Юлия, ваша красота могла, конечно, ослепить мои глаза,

² Старый режим (*фр.* l'ancien régime) – королевский режим, государственное устройство Франции до Великой французской революции 1789 года.

но не могла бы она увлечь мое сердце, если бы ее не одухотворяла иная, более могучая красота. В вас я обожаю трогательное сочетание живого чувства и неизменной кротости, нежное сострадание к другим, ясную мысль и изысканный вкус, коренящийся в вашей чистой душе, словом, я обожаю в гораздо большей степени вашу очаровательную душу, чем вашу внешность. Я готов допустить, что вы могли бы быть еще прекраснее, но представить вас душевно еще более привлекательной, представить вас еще более достойной любви мужчины, это, дорогая Юлия, невозможно».

Те же чистые и идеальные представления проникают чувство Юлии, то есть новой женщины. Она пишет Сен-Пре: «Разве истинная любовь не самая целомудренная из всех связей? Разве любовь не самый чистый и самый прекрасный инстинкт? Разве она не проходит мимо низких и гнусных сердец, вдохновляя только великие и сильные души? И разве она не облагораживает все чувства, разве она не удваивает наше существо, не возвышает нас над самими собой?»

Эта чистая любовь, однако, вовсе не хотела оставаться платонической, простой мечтой духа. Источником ее, правда, должна была быть душа, из ее глубины она должна была получать свою лучшую пищу, но только затем, чтобы освятить физиологическое чувство и сделать его таким образом высочайшей из всех страстей. Место галантной фразы должна была занять правдивость и искренность. Страсть должна была всколыхнуть до самого основания все существо любящего, вознести его среди ликований и восторгов к небесам и дать ему таким образом самые чудесные откровения.

На третье письмо Сен-Пре Юлия отвечает признанием, дышащим блаженством упоения: «Тщетно обращаю я свои мольбы к небу. Оно не внимает молитвам слабых. Все служит пищей для пыла, сжигающего меня, во всем я должна полагаться только на себя, или – вернее – все отдает меня во власть тебе. Вся природа как будто твоя союзница. Все мои попытки побороть себя не приводят ни к чему. Я склоняюсь перед тобой против воли. И разве мое сердце, оказавшееся неспособным к противодействию, когда оно было во всеоружии, сможет отдаться теперь только наполовину? Ужели мое сердце, неспособное ничего от тебя утаить, смогло бы скрыть от тебя остаток моей слабости?»

Это драгоценное признание возлюбленной возносит Сен-Пре на небо. Блаженство и ликование текут по его душе бурными волнами. Экстаз счастья достигает своих последних границ: «О, небеса! У меня имелась сила сносить горе, дайте мне силы снести блаженство! Любовь, истинная жизнь души, приди и укрепи мое сердце, которое грозит разорваться. Невыразимое очарование добродетели, непобедимая прелесть голоса возлюбленной! Счастье, радость, упоение, как ваши стрелы пронзительны! Кто в силах вынести боль от их ран? Где взять силу, чтобы не утонуть в море блаженства, вливающимся в мое сердце?»

Такое возвышенное чувство имеет только начало, но не конец. Любовь вечна и неизменна. Она уничтожает понятие пространства и времени. Любовь навсегда приковывает мужчину и женщину друг к другу, хотя бы их разъединяли моря и страны. Они стали единым существом. Сердца сливаются в одном ударе, в мозгу – одна мысль. Перед этим законом любви бессильно все на свете.

Юлия пишет Сен-Пре: «Судьба может разъединить наши тела, но не наши души. Отныне мы будем разделять и горе и радость. И подобно магнитам, о которых вы рассказали, в разных местах совершающим те же движения, так нас будут воодушевлять те же чувства, хотя бы мы и находились на противоположных концах света».

Так как любовь столь глубоко срослась с человеческой природой, то для любящего не существует более угнетающей мысли, чем та, что его возлюбленная может быть отнята у него и принадлежать другому. Когда Юлия сообщает Сен-Пре сердцем, истекающим кровью, что отец предназначил ее руку другому, он вскрикивает в отчаянии: «Что ты сказала мне?.. На что ты смеешь намекать?.. Ты проведешь свою жизнь в объятиях другого?.. Другой будет обладать

тобою... Ты не будешь больше моей?.. Или, что еще ужаснее, ты будешь не только моей?.. И мне придется претерпеть эту муку?.. Я должен буду видеть, как ты подарить детей другому... Нет, уж лучше я потеряю тебя совсем, чем буду разделять тебя с другим. Зачем небо не дало мне мужества излить клокочущее во мне бешенство и пустить его в дело! Собственноручно я вонзил бы в твою грудь кинжал, прежде чем позволить тебе унижить себя подобным проклятым, отвергаемым любовью, осуждаемым честью союзом. Прежде чем ты запятнала бы свое целомудренное сердце неверностью, оно истекло бы кровью, а с твоей кровью я соединил бы ту, которая горит неугасающим пламенем в моих жилах. В твои объятия я упал бы и умер бы, прижав мои уста к твоим. Испуская свой дух, я воспринял бы в себя твой последний вздох».

Это язык истинной страсти, находящей в себе силы вызвать на бой целый мир, одинаково великой и когда она торжествует, и когда гибнет.

Так очеловечила и в то же время обоготворила буржуазная идеология любовь, ставшую величайшим переживанием, возвышеннейшим венцом бытия...

Буржуазный век дал всем и каждому право самоопределения, предполагая, в свою очередь, как свое естественное дополнение чувство ответственности. Право немислимо без обязанностей. Все без исключения обязаны подчиняться принципу: ты должен. Этот закон диктует и любви ее специфические цели. Очищенная в горниле чистой страсти индивидуальная половая любовь должна была найти свое высшее завершение в браке. Таково теперь ее первое и главное назначение. Любовная связь лишь преддверие брака. Тело и душа должны быть связаны узами гармонии на всю жизнь. А высшей целью брака признаны теперь дети. Половой акт уже не является одним только наслаждением, а получает свое освящение и оправдание в желании произвести потомство. Дитя становится целью брака, и не только как наследник имущества и имени, но и как продолжатель идеи человечества, носителем и служителем которого каждый обязан быть. Брак поэтому всеобщая обязанность.

Эта важность брака для государства делает его нравственным учреждением или, вернее, единственной законной формой половых отношений. Отсюда следует прежде всего строгое требование добрачного целомудрия и безусловной взаимной верности обоих супругов. Супруги живут только для детей и друг для друга. Далее из этого положения следует, что всякие незаконные половые сношения становятся для тех, кто в них повинен, позором. Кокетство и флирт с третьим лицом позорит брак.

Прелюбодеяние – не только преступление, совершенное по отношению к личности, но и преступление государственное.

Наслаждение продажной любовью считается на основании той же логики самым презренным, что только есть на свете. Проститутка уже не пикантная мастерица любви, а развратница.

Брак, провозглашенный единственным нравственным способом половых сношений, сделался как бы оплотом государства как нравственного понятия. Брак стал вместе с тем почетным званием, ставившим женатых и замужних высоко над холостыми.

Из этой идеализации буржуазной идеологией брака вытекали, естественно, соответствующие последствия для всех областей взаимного ухаживания, разнообразные требования так называемого публичного и частного приличия в сфере языка, жестов, поведения, светских отношений и т. д.

Нет надобности подробнее останавливаться здесь на этих второстепенных вопросах, так как пока нам важно только установить основные принципы половой идеологии буржуазного общества. А эти последние сводятся исключительно к идеализации брака и его чистоты.

Как политические идеалы буржуазии, так, естественно, и ее идеалы половой жизни выросли из ее особых потребностей, коренятся в этих последних. Только рамки упорядоченного семейного хозяйства могли обеспечить полную безопасность буржуазного существования. Следует помнить также, что авангардные стычки буржуазного века были прежде всего делом мелкой буржуазии.

Великая английская и Великая французская революции были совершены революционерами-мещанами. Из рядов портных и перчаточников вербовал Кромвель свое правительство железнобоких, и из их рядов вышли во Франции члены якобинских клубов. Пролетариат, как самостоятельный класс, организовался лишь постепенно по мере развития промышленной революции, а тогдашние капиталисты пропагандировали, естественно, эпикурейскую³ философию; собственно они и служили в конечном счете образцом для придворной знати и ее пышного развратного образа жизни.

Буржуазный век открывается, следовательно, преимущественно мелкобуржуазной идеологией.

Необходимо помнить еще одно обстоятельство: буржуазная идеология родилась из борьбы против абсолютизма. Необходимо было заклеить безнравственность господствующих социальных сил, а этого легче всего было достигнуть тем, что им противопоставалась демонстративно собственная, более высокая нравственность.

Эта боевая позиция обусловила внешние формы новых идеалов, их особую формулировку.

Всякая боевая мораль всегда носит демонстративный характер. В дни старого режима любовь была простым развлечением, забавой, игрой, которую играли иногда с целой дюжиной и которая во всяком случае предполагала постоянную смену действующих лиц. Этому флирту теперь демонстративно противопоставляется глубокая, неизменная страсть, направленная на одну личность. В эпоху старого режима брак находился среди господствующего класса в глубочайшем упадке. Теперь ему противопоставляется идеал чистоты супружеской жизни. Дети были в дни старого порядка мешающим балластом, и от них старались как можно скорее отделаться, доверяя их чужим заботам. Буржуазная идеология, напротив, провозгласила воспитание детей родителями высшей нравственной обязанностью. Мать, сама не кормящая своего ребенка, совершает преступление. Проститутка была в эпоху старого режима высшим божеством, перед которым весь мир, куря фимиам, склонял колени. Буржуазная идеология низводит ее поэтому в степень самого низменного и презренного существа.

Эта сознательная, демонстративная боевая позиция объясняет нам также тот факт, что идейные борцы буржуазии считали свой путь тем более правильным, чем более страстную ненависть возбуждали в господствующих классах их идейные программы. Таков их метод проверки. Руссо требует, чтобы роман, которому эпоха приписывала главную роль в воспитании людей, обладал следующими качествами: «Роман должен подвергаться критике принципы светского общества, должен вскрыть всю их ложь и изменчивость, то есть изобразить их таковыми, какие они есть на самом деле. Если роман будет удовлетворять всем мною выставленным требованиям или если он по крайней мере хочет принести пользу, то по всем этим причинам модники должны осмеять его как глупую химерическую книгу, должны ненавидеть его и ославить его. Так можете вы убедиться, сударь, что мудро именно то, что в глазах света считается глупостью».

Так как люди стояли тогда исключительно на идеологической почве, так как они выводили действительность из идей, вместо того чтобы объяснять идеи действительностью, то господствующая роль принадлежала идеям. Неизбежным отсюда последствием было то, что борцы и законодатели буржуазии хотели быть прежде всего воспитателями. Лучшим средством для этой цели служил, естественно, хороший пример. Все поэтому предлагали примеры для подражания: проповедник приводил их в своих проповедях, писатель изображал их в романах и стихотворениях, художник – на своих картинах. Когда в Англии началась буржуазная реакция против абсолютизма эпохи Реставрации, журнал «Гардиан» писал: «Наша задача состоит в том, чтобы как можно глубже вкоренить в душу людей религию и мораль, представить им

³ Эпикуреизм – склонность к чувственным удовольствиям, изнеженной жизни.

высокие образцы любви родителей к детям и детей к родителям, возбудить ненависть к пороку и уважение к добродетели».

По такому же рецепту поступали несколько десятилетий спустя во Франции. Руссо писал о воспитательной роли романа: «Радость охватывает меня при мысли, что двое супругов, которые вместе прочтут этот роман, почерпнут в нем новое мужество, чтобы освежиться после совместных работ, и что перед ними раскроются новые перспективы, как целесообразней использовать плоды своих трудов. Ужели их взоры будут с восторгом покоиться на картине счастливого домашнего быта, а в их душе не возникнет желание подражать такому привлекательному образцу? Ужели очарование счастливого брака тронет их, а они, даже если сошлись не по любви, не почувствуют потребности более тесного и сердечного общения?»

Точно так же поступали и в Германии. Буржуазное самосознание нашло в лице Лессинга своего носителя и проповедника. Для Шиллера театр был прежде всего моральным учреждением. Теми же идеями была проникнута и буржуазная живопись. Хогарт, Шарден, Грёз, первые великие представители буржуазной мысли в области пластических искусств, – все воспроизводили хорошие примеры, противопоставляемые ими плохим, исходившим от господствующих классов старого режима.

Из определенной идеи выводила пришедшая к сознанию буржуазия права человека и гражданина. В идее, следовательно, в более высокой нравственности должны были корениться и самые эти права. Привести соответствующие документы в подтверждение этой более высокой нравственности – такова задача, выполненная вышеуказанным образом ее идеологией.

И на этот раз действительность также оказалась сильнее идей, и притом решительно во всех областях. О грубую логику этой весьма роковой действительности очень скоро разбилась если не форма, то содержание этих идей.

Век всеобщего счастья не мог наступить вместе с победой буржуазии потому, что вышедший из распада феодального общества новый буржуазный порядок не упразднил классовых противоположностей, а лишь «поставил на место старых классов новые и взамен старых создал новые условия порабощения и новые формы борьбы».

В этом простое решение загадки.

Уже французская революция вскрыла отчетливо эти новые классовые противоположности, и притом она вскрывала их все яснее с каждым новым шагом, то есть чем логичнее она развертывалась, а развивалась она последовательнее всякого другого революционного переворота, чем и обусловлены ее великие, ничем не устранимые результаты. Известный этнолог Генрих Кунов, написавший вместе с тем одну из лучших книг о французской революции («Французская пресса в первые годы Великой французской революции»), ясно и точно описал возникновение этих новых классовых противоречий: «Уже в конце 1789 года, менее восьми месяцев спустя после созыва Генеральных штатов, не только представительство третьего сословия в Национальном собрании распалось на разные энергично борющиеся друг с другом партии, но и среди парижского населения бушевала партийная борьба; и почти каждое из этих разнообразных течений уже имело свою газету, которая для него пишет и борется. Даже низшие социальные слои имеют свои органы. Радикальная интеллигентная мелкая буржуазия и большинство полупролетарской интеллигенции читают „Парижскую революцию“ Лустало; студенты, литераторы, необеспеченные, безвестные художники, начинающие адвокаты читают „Революции Франции и Брабанта“ Камиля Демулена, а интеллигентные рабочие, мелкие мастера, отчасти и интеллигентный пролетариат читают „Друга народа“ Марата.

Противоположность материальных интересов врывается во все буржуазные идеологии, обнаруживая невозможность единой общей идеологии. Еще не кончился 1789 год, и уже газета Марата объявляет себя представительницей интересов рабочих и мелких ремесленников, проповедуя борьбу против финансистов, крупных купцов, рантье, надменных академиков, тогда

как „Французский патриот“ Бриссо выступает в качестве представителя почтенной состоятельной буржуазии против неимущей массы.

Классовые противоречия обострялись тем больше, чем дальше развивалась революция, чем больше речь шла уже не об отражении реакционных поползновений, не об обсуждении разных красивых принципов освободительного движения, а об их применении к практическим задачам управления, об их претворении в законодательные проекты. Теперь, когда предстояла задача практически испробовать новые провозглашенные политические принципы, обнаружилось, как раз по-разному понимались эти принципы и как их последовательное применение на практике разбивалось о стену разнообразных классовых интересов.

Либеральный конституционализм распадается. Против либерализма Сиейеса выступает якобинство, а от последнего уже в конце 1791 года откалывается фракция жирондистов и партия Дантона. Но и очищенное таким образом якобинство состоит из разных направлений, соответствующих интересам разных хозяйственных групп. Рядом с робеспьеровским направлением стоит, например, более радикальный „маратизм“, приверженцы Марата, а рядом с этим радикально-демократическим направлением поднимается индивидуалистическое течение с анархистским оттенком, представителями которого были Анахарсис Клоотс и Гебер.

Умеренное якобинское крыло завладело государственной властью. Оно господствовало в Комитете общественного спасения, тогда как „ультрареволюционная“ фракция Марата и Шометта главенствовала в парижском городском самоуправлении».

На вопрос о конечной причине этой борьбы историки-идеологи, для которых форма – все, отвечают обыкновенно: эта причина – взаимная зависть вождей. Против такого объяснения Кунов справедливо вооружается: «Это одна из величайших нелепостей. Видеть причину борьбы между Бриссо и Робеспьером в их личном соперничестве может только идеолог, не имеющий никакого представления об экономической подоплеке революции и совершенно не понимающий образа мыслей, противоположного идейного содержания обоих этих политиков. Кто возьмет на себя труд проследить взгляды обоих этих деятелей и их отношение к вопросам времени, тот, напротив, удивится, что они так долго могли идти рядом. В чем же коренятся в таком случае мотивы этой партийной розни, мотивы борьбы отдельных направлений друг с другом? Они коренятся в классовых противоположностях, обусловленных разнообразием экономических условий существования и положением отдельных групп в общем экономическом процессе и вытекавшей отсюда общностью или враждебностью интересов».

Дальнейшая эволюция все более обостряла эти возникшие уже в эпоху французской революции классовые противоположности, как яснее ясного видно в истории всех европейских государств, начиная с середины истекшего столетия. Противоречия, столкнувшиеся в грандиозной революционной драме на склоне XVIII столетия, «не устранены и поныне, так что современная борьба является во многих отношениях лишь продолжением борьбы 1789-1794 годов».

В политических формах, к которым привел отдельные государства в их совокупности грандиозный переворот, казалось если не раньше всего, то во всяком случае для всех наглядно, что действительность была сильнее идей.

Проблема века состояла в том, чтобы подчинить отныне политическую власть исключительно интересам победоносной буржуазии. Эта цель была в самом деле достигнута. Интересы капитала стали отныне единственными решающими во всех государствах. Однако в политических организациях эта черта везде – за исключением Америки – завуалирована компромиссом с силами прошлого. Государственной формой, лучше всего соответствовавшей бы совершенно изменившимся экономическим условиям, была бы буржуазная республика, парламентарное управление, в котором всегда ясно обнаруживалась бы воля всех и соблюдались бы интересы не отдельных классов, а всех.

Таков и был первоначальный идеал.

Ради этой цели участвовали с никогда не ослабевавшим вдохновением во всех революциях народные массы. И всегда в день победы провозглашалась именно эта цель, в 1793-м, в 1830-м и в 1848 году. Как бы ни были радикальны по существу все эти перевороты, в конце концов, однако, довольствовались тем, что новое вино вливали в старые мехи. Буржуазия приобщала в большинстве случаев к новой форме монархическую власть, а с ней и тот класс, который последняя воплощала, – все еще полуфеодалное дворянство. Правда, путем конституционного строя буржуазия подчиняла своим интересам и дворянство, но она сохранила за дворянством и монархией фикцию власти. Чем слабее чувствовала себя буржуазия, тем более призрачной была эта фикция.

Раньше и ярче, чем в других странах, монархическая власть была подчинена интересам буржуазии в Англии, но именно интересам только буржуазии, а не всего народа. Так называемая славная революция 1688 года получила от буржуазных историков этот почетный эпитет на том основании, что она представляла компромисс между короной и буржуазией, то есть между финансовыми силами, при этом первая соглашалась быть исполнительницей воли парламента, следовательно, воли буржуазии. Хотя потом английская монархия часто и пыталась повернуть колесо истории назад – до сих пор она не смогла внести существенных изменений в продиктованную ей революцией роль. Гладстон мог спокойно бросить в лицо лордам гордое слово: пока я пользуюсь доверием нижней палаты, мое положение прочно.

Во Франции монархия была, правда, в 1870 году совершенно упразднена и официальной носительницей власти стала буржуазия, но до этой эпохи компромиссы следовали за компромиссами, доставлявшими долгое время наибольшие преимущества монархии, так что последняя надолго могла себе присваивать самые ярко выраженные абсолютистские приемы и манеры. Уступки, во Франции лишь временно сделанные силам прошлого, остались в Германии правилом до настоящего времени.

Немецкая буржуазия устроила с абсолютизмом компромисс наиболее плачевный и жалкий. Правда, и она низвела дворянина-юнкера до степени простой преторианской гвардии, все назначение которой сводится к тому, чтобы защищать ее прибыль от посягательств неимущих классов. Но такой порядок вещей вообще коренится в сущности капиталистического века, в котором все подчинено интересам капиталистической прибыли, следовательно, также и самые условия существования короны и юнкерства. Превращение политической власти в служебный аппарат капитала не является, таким образом, подвигом именно немецкой буржуазии. Особый же ее позор в том, что буржуазия позволяет юнкерству исполнять эту функцию униженным для нее образом.

Немецкое бюргерство предоставило дворянству не только фикцию власти, но и самую власть. Немецкий бюргер не имеет никаких официальных прав на более высокое место в правительственной машине, тогда как последний дворянин имеет это право уже в силу одного своего происхождения. Все более высокие чиновничьи должности, все правительственные места, все высшие военные чины доступны только дворянам. Один только юнкер носит во всей Германии в своем ранце маршальский жезл. За редкими исключениями, конечно, не способности позволяют ему добиться этого жезла, а наряду с происхождением такие важные обстоятельства, как связи, рост, борода и т. д.

Человек бюргерского происхождения, как бы он ни был талантлив, не выйдет за пределы чисто буржуазной профессии. Он может сделаться только коммерции советником, гофратом (надворным советником), регирунгсратом (правительственным советником), в лучшем случае тайным советником. Только в момент крайней опасности ему дается иногда высшее назначение, именно тогда, когда своим умом он должен спасти страну из затруднения, в которое ее повергло феодальное скудоумие. Подобное положение вещей для немецкой буржуазии тем постыднее, что ни одна аристократия так не чуждается культурного прогресса, как именно немецкая. Ни одна аристократия так не бедна талантами, как именно немецкая, даже в тех

областях, которые она считает своими, – в области милитаризма и управления! Где мыслители, философы, композиторы, поэты – за исключением Клейста, – вышедшие из ее рядов? Ни в какой другой стране наука, литература и искусство так мало не связаны с дворянством, нашли в его среде такой плохой приют. Где аристократы-меценаты? Где созданные дворянством публичные библиотеки и музеи? Где портретные галереи предков, написанные кистью великих мастеров? Что создано немецким юнкерством в интересах цивилизации? Ничего подобного вы не найдете. Зато нигде не пользовался и не пользуется такой симпатией позорный девиз: «лошади, собаки, женщины».

Что сказано об отсутствии творческих способностей в среде юнкерства, приложимо и к немецким государям. Со времени Фридриха II на немецких престолах не было ни одного государя, имеющего право претендовать на эпитет относительно выдающейся личности. Впрочем, все это не личная вина немецких дворян и государей, а трагический рок, тяготеющий над исторической действительностью Германии (как уже было выяснено в томе «Эпоха Ренессанса»).

Такой же метаморфозе подверглась и идея личной свободы, провозглашенная новым временем во всех странах высшим благом всех и каждого. Правда, ныне нет больше подданных и крепостных. Место их занял гражданин. Но нам дали комментарии к понятию «свобода», комментарии неопровержимые. Девиз «свобода, равенство, братство» получил более выразительное толкование: пехота, кавалерия, артиллерия... Правда, есть у нас право свободного выражения своих мыслей, зато рядом существуют параграфы о государственной измене, оскорблении величества и богохульстве. Правда, имеется у нас право собраний и союзов, – даже в Германии! – зато везде полиции дана дискреционная власть⁴ пускать в ход резиновый хлыст или браунинг. Все могут рассчитывать на справедливость, так как перед законом ведь все равны, но это право везде комментируется чисто классовою юстицией, функционирующей с баснословной уверенностью.

Приведенные противоречия – наиболее разительные и наиболее известные примеры этой исторической нелогичности, в которую претворились идеи.

Если вы спросите: где же причина? – то ответ можно облечь в сжатую формулу: всегда и везде страх перед преемником. Этим преемником, перед которым новый век почувствовал страх уже почти в самый час своего рождения, было четвертое сословие, как самостоятельный от третьего сословия класс.

Этот страх перед пролетариатом был, правда, вполне логичен. Из всех вышеописанных классовых противоположностей, родившихся вместе с воцарением буржуазного общественного порядка, самой грозной была с самого начала противоположность, все больше обозначавшаяся между рабочим классом и не одним каким-нибудь другим классом, а всеми общественными классами. И если эта противоположность долгое время и не понималась ясно, она с самого начала чувствовалась самым роковым образом.

Одинаковость положения объединила остальные классы. Она позволила им вдруг уяснить тот фактор, который их всех объединял, понять, что этот именно фактор для них всех самый важный – необходимость защитить свое имущественное право от посягательств пролетариата. Требования пролетариата в этом пункте грозили одинаковой опасностью всем другим классам. Этот пункт и привел к компромиссу между буржуазией, победившей, заметьте, только при помощи пролетариата, и только что низложенной монархией, к компромиссу, восторжествовавшему по всей линии – за исключением Америки. Лицом к лицу с мнимым общим врагом буржуазия искала себе союзников и снова уступила, ценой более или менее ярко конституционно выраженных обязательств и ограничений, политическую власть монархии и дворянству.

И опять нигде страх перед грозным наследником буржуазного общественного порядка не был так велик, как именно в среде немецкого бюргерства. Впрочем, и нигде он не был столь

⁴ Особые полномочия, дающие должностному лицу право действовать по собственному усмотрению.

основательным. В Германии, как мы видели, капиталистический способ производства установился позже, чем в остальных крупных европейских странах, после того, как его антагонистический характер уже успел во Франции и Англии очень шумно обнаружиться в ряде исторических движений. Когда немецкая буржуазия выступила на историческую сцену, она не только увидела, что этот наследник уже занял на ней свое место, но и готовится настойчивейшим образом провести в жизнь свои требования. Это обстоятельство и увековечило жалкое положение немецкого бюргерства. Оно привело в первую голову к тому, что объединение Германии не состоялось уже в 1848 году, а далее к тому, что, когда под давлением экономической необходимости это объединение осуществилось, оно совершилось ценой жалкого компромисса между бюргерством и абсолютизмом. Великий исторический момент 1848 года не нашел в Германии буржуазии, способной временно победить феодализм и абсолютизм, не говоря уже о том, чтобы навсегда подчинить их себе. Налицо было лишь поколение, которое уже на другой день после битвы – мы не преувеличиваем – испугалось своей собственной победы и, ломая руки, умоляло побежденного смилостивиться и помочь ему против того, кто его же освободил из неволи.

Так случилось, что немецкая буржуазия добилась в сравнении с английской и французской ничтожной доли политического могущества и лишь очень скромного политического влияния. И здесь, впрочем, речь идет не о личной вине, виной была вышеописанная экономическая отсталость Германии, коренившаяся в конечном счете в последствиях Тридцатилетней войны, изнурившей страну до самого основания и сделавшей ее игрушкой в руках сотни мелких и более крупных деспотов.

Хотя капиталистическое развитие вот уже несколько десятилетий как охватило все страны, а в передовых достигло небывалого расцвета, могущество буржуазии странным образом нигде не возросло. Даже больше. Оно везде значительно пало. Внешним признаком этого упадка стала всюду появившаяся, всюду пускающая корни идея империализма, охватившая даже Америку. И это явление, на первый взгляд, в высшей степени нелогично. На самом же деле эта новейшая фаза развития чрезвычайно логична и вытекает в конечном счете из того же основного мотива капиталистического общества, из желания обеспечить прибыль. Капиталистическая прибыль постепенно получила в общественной жизни такое исключительное значение, что все политические идеалы кажутся буржуазным классам в сравнении с ней пустяком. Буржуазия готова примириться с самой отчаянной реакцией во всех областях – капитализм может, ничем не рискуя, вынести самое тяжелое реакционное бремя, – лишь бы ей гарантировали надолго достигнутую высокую прибыль. Это, стало быть, конечная и неизбежная политическая логика капиталистического развития: идея перекинулась в свою собственную противоположность.

Но что значат все эти политические компромиссы с силами прошлого в сравнении с экономическими, духовными и моральными последствиями современного капитализма? Рядом с последними они кажутся второстепенными. Характерные для этой стороны факты, именно факты, а не их резюме, требуют всестороннего и детального выяснения. Ведь в этих последствиях коренятся особенности половых отношений буржуазного века.

Буржуазия, собственница средств производства и потому представительница капиталистического способа производства, достигла, благодаря все возрастающей прибыли, доставляемой капиталу массовым производством, очень скоро и повсеместно огромных богатств.

Посмотрим, что сделало богатство из отдельных его представителей? Вознесло ли оно их в духовном, душевном и моральном отношении над их прежним уровнем? Пробудило ли оно в них высшие добродетели? Создало ли оно поколение героев? Нет, произошло как раз обратное. Отвратительные денежные машины, лишённые всякого чувства, всякой чуткости, – вот что сделал прежде всего капитал из тех, кто им владел и кто им командовал. Раньше всего и ярче всего обнаружались эти черты у английской буржуазии. Так как английская буржуазия

раньше других европейских стран вступила на путь капиталистического производства, то она могла дольше всего развиваться свободно и потому здесь специфический тип буржуазии мог получить свое наиболее характерное выражение. Здесь он и встречается долгое время в чистом виде. Это ничем не ограниченное развитие достигло в период между 1830 и 1840 гг. одной из своих вершин. Посмотрим, как характеризует с психической и моральной точки зрения английскую буржуазию Томас Карлейль, один из лучших знатоков своей эпохи. Он посвятил этой теме довольно просторную брошюру, появившуюся в 1843 году в Лондоне под заглавием «Прошлое и настоящее». Там между прочим говорится: «У нас нет больше Бога. Божьими законами является один только принцип – принцип наивозможно большего счастья...»

Так как место старой религии надо было, однако, чем-нибудь заполнить, то нам дали новое евангелие, вполне соответствующее пустоте и бессодержательности века, – евангелие мамоны⁵. От христианского неба отказались, как от сомнительного, от ада – как от нелепости, и вот мы получили новый ад; адом является для современного англичанина сознание, что он „не пробьется“, что он „не заработает денег“.

К странным поистине последствиям привело нас наше мамоново евангелие. Мы говорим об обществе, а стремимся к разъединению, к изоляции. Наша жизнь не взаимная поддержка, а взаимная вражда с соблюдением некоторых военных законов, „разумная конкуренция“ и т. д. Мы совершенно забыли, что расчет наличными – не единственная связь между людьми. „Мои рабочие голодают? – удивляется богатый фабрикант. – Разве я не нанял их на рынке по всем обычаям и правилам? Разве я не заплатил им до последней копейки, что им следовало по договору? Какое мне еще до них дело?“ Поистине, культ мамоны – печальная религия.

Даже между супругами единственная связь, по мнению Карлейля, в 99 случаях – деньги. Гнусное рабство, в котором деньги держат буржуазию, отражается даже на языке. «He is worth ten thousand pounds» – «Этот человек стоит десять тысяч фунтов», то есть он владеет десятью тысячами фунтов. У кого деньги, тот достоин уважения, он respectable, он принадлежит к отборному обществу (the better sort of people), он влиятелен (influential), и все, что он делает, составляет в его среде эпоху. Дух наживы пропитал весь язык, все отношения выражаются в понятиях, заимствованных из торгового мира, в экономических категориях. Спрос и предложение (supply and demand) – такова, по словам Карлейля, та формула, по которой логика англичанина оправдывает все явления жизни.

В особенности интересно следующее место: «Удивительно, до какой степени умственно пали и извратились высшие классы общества, те слои, которые англичане называют respectable people, the better sort of people. Исчезли энергия, деятельность, содержательность. Земледельческая аристократия охотится, финансовая обложила себя торговыми книгами и в лучшем случае интересуется столь же пустой и бессильной литературой. Политические и религиозные предрассудки переходят по наследству от поколения к поколению. Теперь все достигается легко и нет надобности ломать себе голову над принципами, как раньше; еще когда мы лежим в пеленках, они сами готовыми летят к нам в рот, неизвестно откуда. Чего еще!

Мы получили хорошее воспитание, то есть в школе нас безрезультатно мучили римлянами и греками, во всем прочем мы respectable, то есть собственники стольких и стольких тысяч фунтов, и не о чем нам заботиться, разве о том, чтобы взять себе жену, если таковой еще нет...

А что сказать о том чучеле, которое люди называют „духом“? Куда его пристроить? Все китайски-строго установлено и ограничено – горе тому, кто выйдет за тесные границы, горе, трижды горе тому, кто посягает на почтенный предрассудок, девять раз горе ему, если это

⁵ У древних народов – бог богатства; в переносном смысле – олицетворение стяжательства и алчности.

предрассудок религиозный. На все существует только два ответа: в духе вигов и в духе тори⁶, а самые ответы давно заранее установлены мудрыми обер-церемониймейстерами обеих партий.

Нет надобности предаваться размышлениям, вдаваться в подробности. Все уже готово. Дикки Кобден и лорд Джон Рассел сказали так-то, Боби Пиль или герцог *par excellence*⁷, то есть герцог Веллингтон, сказали так-то – и так будет и останется вовек.

В «образованных кругах» общественный предрассудок диктуется или тори, или вигами, или в крайности радикалами – да и это последнее уже считается не очень *respectable*.

Пойдите в компанию образованных англичан и скажите, что вы чартист⁸ или демократ, – и вас сочтут за сумасшедшего и будут избегать вашего общества. Или заявите, что вы не верите в божественность Спасителя, и все от вас отвернутся. Признайтесь, наконец, что вы атеист, и на другой же день никто вам не подаст руки. И даже в том случае, когда свободный англичанин начнет думать, что случается, впрочем, чрезвычайно редко; когда он сбросит с себя воспринятые вместе с материнским молоком предрассудки, то и тогда у него редко бывает мужество свободно высказать свое убеждение, даже и тогда он для публики надевает маску по крайней мере терпимого мнения и рад, когда может излить свою душу с глазу на глаз».

Таких пронизательных и безжалостных критиков, как Карлейль, английская буржуазия находила нечасто, все же он был не единственным. К той же самой эпохе относится не менее отчетливая характеристика, сделанная Фридрихом Энгельсом, бывшим тогда купцом в Манчестере: «Нигде я не встречал такого глубоко деморализованного, такого до мозга костей испорченного эгоизмом, такого разъеденного раком разложения и не способного ни к какому прогрессу класса, как английская буржуазия – я имею в виду здесь преимущественно настоящую буржуазию, либеральную, стремящуюся к упразднению „хлебных законов“. Для нее все на свете существует только ради денег, не исключая и ее самой, потому что она живет исключительно для того, чтобы наживать деньги, для нее нет другого блаженства, как быстрое приобретение, другого горя – как потерять деньги. При такой алчности и жажде наживы никакая мысль, никакое воззрение не могут остаться незапятнанными».

О религиозном лицемерии английской буржуазии тот же Энгельс писал в «Немецко-французских ежегодниках» в 1844 году: «Когда „Жизнь Христа“ Штрауса появилась в Англии, то ни один „порядочный“ человек не отважился ее перевести, ни один видный издатель не дерзнул ее напечатать. Ее перевел, наконец, социалистический преподаватель, человек, занимающий нефешенебельное общественное положение, незначительный социалистический издатель напечатал ее выпусками по одному пенни, а рабочие Манчестера, Бирмингема и Лондона были единственными читателями Штрауса в Англии».

Эта набросанная в 40-х годах XIX столетия характеристика английской буржуазии осталась правильной и для 60-х годов, да и в настоящее время черты ее существенно не изменились к лучшему, разве только более завуалированы.

Важнее же всего следующее: все, что сказано об английской буржуазии, применимо к буржуазии всех стран, где господствует капиталистическая система производства.

Карлейль нарисовал, в сущности, портрет всей международной буржуазии. Вы не найдете здесь ни одного белого ворона. Да и не может этого быть. Указанные черты характера коренятся не в особых качествах английской души, а являются неизбежными последствиями влияния на психику выбивания капиталистом прибыли.

По мере того как отдельные страны вступали на путь промышленного капиталистического способа производства и в зависимости от степени интенсивности, с которой совершался там этот процесс, сообразно особым условиям, в которых эти страны находились, в среде иму-

⁶ Виги и тори – политические партии в Великобритании, возникшие во второй половине XVII века.

⁷ По преимуществу (*фр.*).

⁸ Чартизм – социально-политическое движение рабочих Великобритании в 1836-18480 годах.

щих классов вырабатывалась та же специфическая буржуазная физиономия. Это происходило менее ярко в таких странах, где, как во Франции, Италии, Испании, долго еще господствовало ремесло, зато тем ярче и резче в таких странах, как Америка, где крупному машинному производству не нужно было сначала уничтожать старые способы производства, где оно могло свободно развить присущие ему тенденции. Все черты специфически буржуазной физиономии нашли в среде американской буржуазии поистине чудовищное выражение. Такова она там и теперь.

Каждый американец есть не более чем рафинированно устроенная счетная машина, пренебрегающая всякой декоративностью, всякой облагораживающей линией.

Этому влиянию капитализма на отдельных его представителей соответствует аналогичное его влияние на весь общественный организм, так как капиталистическая система производства стала основным базисом всей жизни. Все стало товаром, все капитализировано, все поступки, все отношения людей. Чувство и мысль, любовь, наука, искусство сведены на денежную стоимость. Человеческое достоинство определяется рыночным весом – таков товарный характер вещи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.